

С.А. Шульц

Личность Гоголя

Понятие личности несводимо к набору психических переживаний, качеств характера и темперамента, хотя и не может быть представлено без них. Личность — это прежде всего особое, уникальное место в сущем, особый путь, который может и не быть ровным, но всегда — незаемным, самостоятельным, вырастающим из глубокого внутреннего опыта. Гоголь обладает таким путем. И пока в продолжающемся диалоге мирового целого не сказано последнего слова, пока мир не завершен, не завершен также путь Гоголя, как и путь многих других жизней. Отсюда второе условие личности (о нем напомнил всем нам М. Бахтин): она раскрывает себя в общении с другим и поэтому также неисчерпаема, как это общение. Не совпадая сама с собой, превосходя самое себя, она склонна ускользать от окончательного анализа.

Особенности личности и судьбы Гоголя лучше проясняются при сравнении с пушкинской судьбой. Кумир, учитель и старший друг Гоголя, воспринимавшийся им как образец совершенного человека, Пушкин был художником русского Возрождения — гармоничным, внутренне уравновешенным, находящимся в согласии с внешним миром («певец империи и свободы», по определению Г. Федотова). Другое дело Гоголь. Уже обращалось внимание на один любопытный парадокс: внешняя канва его жизни как нарочно была довольно гладкой и безоблачной (его ни разу не ссылали, не вызывали на дуэль, его книги не запрещали, он пользовался весьма милостивым расположением двора) для того, чтобы внутреннюю жизнь постиг тяжелейший раздор, мучительнейший разлад. Напряженное противостояние между укорененностью в жизнь, в самый эпицентр современных ему событий и страстей, с одной стороны, и неизбывной тоской по высокому идеальному пространству (где нет раздвоенности между душой и телом, между мыслью и действием), с другой стороны, — вот суть этого разлада. В разные эпохи биографии Гоголя напряжение между двумя указанными полюсами то усиливалось, то ослабевало, точка стояния Гоголя перемещалась постепенно от первого ко второму: когда она передвинулась за середину, Гоголь добровольно ушел из жизни. Если воспользоваться образами из его раннего наброска-обращения к своему гению, «надежда» пересилила «воспоминание». Надежда на встречу с идеалом лицом к лицу, в эсхатологической перспективе, в жизни вечной. Соответственно, земная жизнь стала для него, как для всякого подлинного христианина, преддверием иного существования, стала настоящим адом, в борьбе с грозными стихиями которого он утверждал свое право на вечность (право на рай). Мария Ивановна Гоголь, очень верующая женщина и главный религиозный наставник своего любимого сына Никоши в детстве, позднее получила от него признание в том, что сами формы церковной обрядности не вызывали у него тогда никаких чувств, кроме сдержанного раздражения, но зато роль бесед с матерью была иной: «Я просил вас рассказать мне о Страшном суде, и вы мне, ребенку, так хорошо, так понятно, так трогательно рассказали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешных, что это потрясло и разбудило во мне всю чувствительность».

Вот как писал о Гоголе Д. Мережковский, интереснейший среди деятелей русского религиозно-философского ренессанса начала XX века: «Беда его была в том, что он первый заболел новою, никому на Руси до тех пор неизвестною страшною болезнью, слишком нам теперь, после Л. Толстого и Достоевского, знакомою, — болезнью нашего религиозного *раздвоения*». (Мережковский тут намекает также на физическое нездоровье Гоголя, истолковывая его как следствие нездоровья душевного).

Гоголевскую сложность часто пытались объяснить единоличным влиянием психологических, классовых, социальных причин — экспансией бессознательного или борьбой приобретенной «русской» природы с изначальной «украинской»; давлением

идеологии мелкопоместного дворянства, к которому Гоголь принадлежал по происхождению; действием политико-экономической ситуации в России (конкретно, развитием капиталистических тенденций и кризисом крепостнической системы хозяйствования). Разумеется, многие из перечисленных выше факторов в самом деле давали себя знать. И все же следует помнить, что когда речь идет о такой категории, как личность, то есть об отдельности человеческого пути, мы вступаем в область загадки. Личность невозможно *объяснить*, ее можно только *понять* — настолько, насколько это будет в наших силах.

* * *

Через год после смерти Гоголя, бросившей ответ на всю его жизнь и так много поменявшей в отношениях к нему других людей, один из гоголевских друзей размышлял: «Натура Гоголя, лирически-художественная, беспрестанно умеряемая христианским анализом и самоосуждением, проникнутая любовью к людям, непреодолимым стремлением быть полезным, беспрестанно воспитывающая себя для достойного служения, истине и добру, — такая натура в вечном движении, в борьбе с человеческими несовершенствами ускользала не только от наблюдения, но даже иногда от понимания людей, самых близких к Гоголю. <...> Разные люди, знавшие Гоголя в разные эпохи его жизни, могли сообщить о нем друг другу разные известия... Тут не было никакого притворства: он соприкасался с ними теми нравственными сторонами, с которыми симпатизировали те люди или по крайней мере которые могли они понять... Одни называли его забавным весельчаком, другие — молчаливым, угрюмым и даже гордым; третьи — занятым исключительно духовными предметами... Некоторые друзья и приятели, конечно, знали его хорошо; но знали, так сказать, по частям. Очевидно, что только соединение этих частей может составить целое, полное знание и определение Гоголя».

Отталкиваясь от этих глубоких замечаний С. Аксакова и имея в виду удивительную способность Гоголя сочетать в своем поведении обычно не сочетаемое, вырваться из всякого контекста, приведем несколько примеров.

Приехавший с Украины молодой провинциал, Гоголь долго удивлял окружающих своим внешним видом, в котором претензия на щегольство сочеталась с отсутствием вкуса. Тот же Аксаков в «Истории моего знакомства с Гоголем» приводит такой эпизод: «Жуковский» провел меня через внутренние комнаты к кабинету Гоголя, тихо отпер и отворил дверь. Я едва не закричал от удивления. Передо мной стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме: вместо сапог длинные шерстяные чулки выше колен; вместо сюртука, сверх фланелевого камзола, бархатный спензер (короткий шерстяной жилет), шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове бархатный малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордовок. Гоголь писал и был углублен в свое дело, и мы, очевидно, ему помешали. Он долго, не зря, смотрел на нас, ...но костюмом своим нисколько не стеснялся».

А вот как описан поздний Гоголь: «Походка его была оригинальная, мелкая, неверная, как будто одна нога старалась заскочить постоянно вперед, отчего один шаг выходил как бы шире другого. Во всей фигуре было что-то несвободное, сжатое, скомканное в кулак. Никакого размаху, ничего открытого нигде, ни в одном движении, ни в одном взгляде. Напротив, взгляды, бросаемые им то туда, то сюда, были почти что взглядами исподлобья, наискось, мельком, как бы лукаво, не прямо другому в глаза, стоя перед ним лицом к лицу». Подверженный приступам не всегда объяснимой тоски и прозванный Пушкиным «великим меланхоликом», Гоголь вместе с тем мог уморить окружающих своими шутками. Ощущение от воздуха Рима для него подобно тому, как будто бы “по крайней мере 700 ангелов влетают в носовые ноздри” и поэтому “часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше — ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были величиною в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно больше благовония и весны”» (цитата из гоголевского письма к его ученице М. Балабиной).

Особенно присущая Гоголю черта — бесконечные розыгрыши и мистификации. Так, прибыв в один европейский город, Гоголь мог сообщить матери, что находится в другом, мог с удивительной быстротой менять игровые маски. Вот как однажды он путешествовал по России. По просьбе Гоголя один из спутников (все они были его гимназические товарищи) ехал впереди и распространял слухи, что за ним следует ревизор, скрывающий действительную цель своей поездки. Когда же Гоголь с другим спутником приезжал на станцию, там уже все было готово к встрече «чиновного» гостя. Так же трое мчали с огромной быстротой, не дожидаясь, как обычно, лошадей по многу часов.

Кажется, видоизмененную склонность к мистификациям Гоголь сохранил и в 1840-е годы, отмеченные существенной переменой восприятия и бытового поведения, поворотом к суровому христианскому аскетизму и строгому учительству в отношении окружающих. Переданный в книге «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847) глубоко личный опыт внутренней жизни (это жизнь хотя и внутри себя, но для других, модель для исцеления ближних и дальних) выражает ощущение жизни как театральной драмы, которую надо сыграть достойно, даже если выпавшая роль тяжела и является второстепенной («роль» здесь отождествляется с местом в социальной иерархии), сыграть так, чтобы, как прямо пишет Гоголь, заслужить «рукоплескание на небесах». Сам же Гоголь, как он предстает в «Выбранных местах», пытался сыграть в этой драме не одну, а все роли: и проповедника — и исповедующегося, и господина — и слуги, и святого — и грешника. Сравните оценку «Выбранных мест» Достоевским как книги, где Гоголь «врал и паясничал. Пусть в существе вопроса Достоевский все же ошибался, но нам здесь важен прежде всего способ оценки: через метафору театральности.

В 1840-е годы гоголевских поучений не избежали не только друзья («Но слушай, теперь ты должен слушать моего слова, ибо вдвойне властно над тобою мое слово, и горе кому бы то ни было не слушающему моего слова». — Из письма Данилевскому, 1841; «Ничего не в силах я тебе более сказать, как только: верь словам моим». — Из письма Н. Языкову, 1841), но даже женщина, которой Гоголь симпатизировал и даже позже делал предложение (отклоненное). Эта женщина — Анна Михайловна Вьельгорская, дочь камергера двора Его Величества и урожденной принцессы Бирон. «О здоровье вновь вам инструкция, — пишет Гоголь, — ради Бога, не сидите на месте более полутора часов, не наклоняйтесь на стол: ваша грудь слаба, вы это должны знать. Старайтесь всеми мерами ложиться спать не позже 11 часов. Не танцуйте вовсе, в особенности бешеных танцев: они приводят кровь в волнение, но правильного движения, нужного телу, не дают. Да и вам же совсем не к лицу танцы: ваша фигура не так стройна и легка. Ведь вы не хороши собой. Знаете ли вы это достоверно? Вы бываете хороши только тогда, когда в лице вашем появляется благородное движенье... как скоро же нет у вас этого выражения, вы становитесь дурны».

Примеры причуд и странностей Гоголя можно множить, как и примеры его отзывчивости и доброты (часто это одни и те же примеры) — трогательную заботу о матери, об устройстве и обучении в Петербурге сестер, его бессеребренничество (с 1844 года Гоголь передавал часть зарабатываемых литературными трудами денег в фонд помощи нуждающимся студентам).

Перед нами очень интересный, сложный и неоднозначный характер.

Гоголь с отроческих лет обладал ощущением своего избранничества: «...В те годы, когда я стал задумываться о моем будущем (а задумываться о будущем я начал рано, в те поры, когда все мои сверстники думали еще об играх)... мне... казалось, что я сделаюсь человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий и что я сделаю даже что-то для общего добра», — признавался он в «Авторской исповеди» (1847).

При этом стезя писателя не сразу была найдена им для приложения своих сил; поначалу он подумывал о карьере юриста, государственного чиновника, так как

приносить зримое благо Отечеству на этом именно посту казалось ему сподручнее и во всех отношениях удобнее.

О том, сколь ответственно подходил Гоголь к выполнению своей гражданской миссии (а наличие таковой было для него бесспорно), говорят следующие слова из «Авторской исповеди»: «Мысль о службе меня никогда не оставляла. Я примирился и с писательством своим только тогда, когда почувствовал, что на этом поприще могу также служить земле своей. Но и тогда, однако же, я помышлял, как только кончу большое сочинение, вступить, по примеру других, в службу и взять место. Планы мои и виды были только горды и заносчивы <...>... Назначение человека — служить, и вся жизнь наша есть служба».

Поражает внутренний драматизм поисков Гоголем своего поприща. В каком только качестве он себя не пробовал! Мелкий чиновник в департаменте уделов; домашний учитель в семье Васильчиковых; преподаватель истории в Патриотическом институте и Санкт-Петербургском университете; ученый-историк, поэт (идиллия «Ганц Кюхельгартен»), прозаик, драматург, публицист, критик (в «Арабесках» и «Выбранных местах»), проповедник (в «Выбранных местах»), богослов (в «Размышлениях о Божественной литургии»), странник, отшельник. В замыслах остались дороги актера, живописца, этнографа, географа... Позднейшая критика немало иронизировала по поводу гоголевской «многосоставности», что ж, на то имеются свои причины. «За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь», — гласит пословица. Гоголь же порою гнался не за двумя «зайцами», а за тремя, четырьмя одновременно. Ему хотелось войти разом во все, добиться совершенства во всяком начинании, причем совершенства абсолютного, полного — с тем, чтобы непременно принести пользу обществу и таким образом прославить («означить») свое имя (прославить не только *здесь*, но и *там* — на небесах; ср. со старой пословицей: «Одна на свете слава: слава в вышних Богу»). Последнее обстоятельство — жажда действия и славы — как раз и являются тем стержнем, вокруг которого собираются разнонаправленные гоголевские устремления, это же обстоятельство сообщает его артистической личности небывалую целеустремленность и своего рода цельность. Заклятие, обращенное Гоголем к своему гению в преддверии наступающего 1834 года, рефреном проходит через всю его жизнь: «Я совершу!.. Я совершу! Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле Божество! Я совершу...»

За какие-то пять лет пребывания в Петербурге, куда он приехал по окончании гимназии высших наук в Нежине двадцатилетним молодым человеком, Гоголь добился репутации виднейшего русского писателя, подружился с Пушкиным, Жуковским, Плетневым, а в 1835 году, еще при жизни Пушкина, был провозглашен Белинским «главою литературы, главою поэтов».

В дни внутренних колебаний, ссор с друзьями и читающей публикой, во время приступов изнурительной болезни (Гоголь страдал расстройством нервов желудочной полости), заставлявшей его вояжировать по западным курортам, в моменты остановок литературной работы единственное, что подбадривало Гоголя и давало ему силы, — мысль о его деле, ради выполнения которого он считал себя призванным на землю. Повторяя вслед за Пушкиным, что слово писателя уже и есть дело, он находил *невыполнение* дела страшным грехом — не столько против самого себя или общества, сколько против Бога, дающего человеку силы и возможности. Ведь известная евангельская притча трактует талант, зарытый в землю, как нравственное преступление.

С исключительной безжалостностью к самому себе Гоголь сжигал за собой мосты. Вместо того чтобы «почить на лаврах», он не раз объявлял все, что было им ранее создано, несовершенным, недостойным внимания, «выпрыгивал» из каждого состоявшегося периода своего творчества. Самый яркий пример такого сожжения мостов — книга «Выбранные места из переписки с друзьями».

Для выполнения своей миссии Гоголь отказался от многих житейских радостей, выбрал судьбу «бессемейного путника». Если рациональное начало здесь и превалировало, то оно опиралось на мощную душевную потребность делания блага и стяжания славы — «славы в вышних Богу» прежде всего. Подобно герою «Слова о полку Игореве», Гоголь «скрепил ум волею своею», и в наличии столь сильной воли мало кто из мировых писателей может посоперничать с ним.

Чтобы лучше понять Гоголя, нужно также иметь в виду, что все его устремления, в русле традиций романтической эпохи, которая его взрастила и воспитала (и которая как раз культивировала в личности артистизм и «многосоставность», подобные гоголевским), носили не какой-то относительный, частный, а абсолютный характер. То есть дело должно было быть непременно глобальным, потрясающим основы мироздания, а слава — полной. Почти всякий романтический герой вступает в мир с такой установкой. Он общается с миром на равных, проповедуя при этом самый решительный индивидуализм. Емко романтическое кредо выражено у Лермонтова:

Я рожден, чтоб целый мир был зритель
Торжества иль гибели моей.

Любопытно, что Гоголь, в отличие от Лермонтова, фактически буквально пытался реализовать эту формулу. И, несмотря на неудачи, был в этом очень настойчив. Когда «торжества» перед лицом «целого мира» не получилось, он выбрал смерть «на миру» (по пословице «На миру и смерть красна»), привлекая к ней (еще гипотетической) всенародное внимание уже в «Выбранных местах...» и порываясь самой смертью превратить в «торжество». «Я был тяжело болен; смерть уже была близко... Небесная милость Божия отвела от меня руку смерти. Я почти выздоровел, мне стало легче. Но, чувствуя, однако, слабость сил моих, которая возвещает мне ежеминутно, что жизнь моя на волоске, и, приготовляясь к отдаленному путешествию к святым местам, необходимому душе моей, во время которого может все случиться, я захотел оставить при расставании что-нибудь от себя моим соотечественникам» (подразумеваются «Выбранные места»). Внимательный глаз, знакомый с контекстом эпохи, обязательно увидит в этом откровении подвижника налет (а точнее, нижний слой) романтического эгоцентризма. Поэтому мы можем уточнить, что религиозность Гоголя 1840-х годов имеет своим импульсом, помимо прочих, веяния романтической эпохи.

Восприятие Гоголем этих импульсов было действительно серьезным. Гоголь усвоил романтический «мифотитанизм» (расширив пределы своей личности настолько, что она вместила в себя всю Россию), нечеловеческое напряжение романтического желания слить идеал и действительность (это слияние должно было произойти наяву сразу по выходе второго и третьего томов «Мертвых душ»), романтическое желание вырваться за пределы пространства, отводимого собственно искусству — соединить искусство с религией, с торжеством жизни.

Несмотря на утопичность подобных установок, развитие Гоголя шло не в сторону смягчения его идеалов, а, напротив, в сторону их радикализации. После неудачи на чиновничьем и преподавательском поприще Гоголь приходит к выводу о том, что он взялся не за свое дело, и решает полностью посвятить себя литературному творчеству. Уже имея за плечами «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Арабески», «Миргород», уже начав поэму «Мертвые души», он с небывалым воодушевлением принимается за «Ревизора». Хотя исходным толчком этой комедии послужило желание посмеяться над общественными пороками, ее художественный смысл гораздо шире и глубже. Гоголь ждал от постановки «Ревизора» не столько немедленного исправления нравов, сколько общего эффекта потрясения, единого ответного порыва соотечественников. Не случилось ни того, ни другого. Неудача «Ревизора» на сцене, сильно преувеличенный Гоголем, по привычной мнительности, заставляет его уехать за границу и предаться апатии. Гибель Пушкина (1837) совсем выводит его из равновесия.

На рубеже 1830–40-х годов начинается тот мучительный, затяжной процесс нравственных и художественных поисков и метаний Гоголя, конец которому положила только смерть, добровольно им самим же призванная.

Личность Гоголя — это непрерывная цепь «смертей» и «воскресений», упорядочиваемая сверху «умом-устроителем» («разумной частью души»). Из пепла своего прежнего, отвергнутого опыта Гоголь, заглядывая во вневременной опыт потустороннего (загробного) существования и меряя все его мерой, всякий раз возрождался заново — для нового отрицания и новой жизни. Отсюда такая безжалостность в сведении счетов с самим собой, такая вера в возможность чуда. Отсюда же смена исключительных по степени интенсивности периодов подъема столь же исключительными, но уже с обратным знаком, периодами упадка. Недаром он так любил праздник Пасхи. Пасха — это главный праздник в восточном христианстве (пафос обновления), тогда как главный праздник в христианстве западном — Рождество (пафос раз и навсегда установленного порядка вещей). Понятно, что физическая смерть в этом контексте — также одно из звеньев, за которым следует жизнь вечная. Как сказано у любимого Гоголем апостола Павла, «не оживет, аще не умрет». Характерен заголовок очерка Брюсова о Гоголе: «Испепеленный».

Модель «смерть — воскресение», апокалиптическая по своей природе и так ярко продемонстрированная Гоголем, — это, собственно говоря, модель всей русской культуры и российского бытия вообще. Это явление, которое могло возникнуть только на почве православия, хранящего в почти нетронутom состоянии заветы первохристианства, с его органической апокалиптикой и эсхатологичностью. Острое предчувствие Гоголем всероссийского и всемирного даже Апокалипсиса отразилось в эсхатологических финалах «Ревизора» и «Мертвых душ».

Гибель Пушкина была гибелью целой литературной эпохи. Вместо пушкинского представления о художнике как о «счастливце праздном», которое молодой Гоголь с охотностью относил к самому себе, приходит другое. В художнике теперь хотят видеть социального диагноста, пророка, своим словом наставляющего общество. Очень симптоматично в этом отношении стихотворение друга Пушкина и Гоголя — Н. Языкова, под знаменательным — апокалиптическим — названием «Землетрясение» (1844). Воспроизведя древнее византийское предание об отроке, *вознесенном* во время страшного константинопольского землетрясения *на небо* и принесшего оттуда спасительную для людей молитву, после которой беда отступила, Языков заключает.

Так ты, поэт, в годину страха
И колебания земли
Носись душой превыше праха
И ликам ангельским внемли,

И приноси дрожащим людям
Молитвы с горной вышины,
Да в сердце примем их и будем
Мы нашей верой спасены.

На смену утонченному европеизму и благородной светскости приходят идеалы религиозности и национальной самобытности. От движения в их сторону не ушел практически никто из пушкинского окружения. Движение это, одинаково сложное и для Языкова, и для Плетнева, и для Жуковского, оказалось решающим в судьбах русской культуры XIX века (прежде всего для Достоевского и Л. Толстого). Гоголь шел в его авангарде.

Неудача «Ревизора», отнесенная автором вначале на счет «толстокожести» современников, чуть позже трактуется им как результат собственных просчетов — плохого знания природы человека вообще и русского человека в частности, следствие собственного духовно-нравственного несовершенства. Уже имея позади опыт «фамильяр-

ного контакта с современностью» (М. Бахтин), вплотную соприкоснувшись с нею в «Петербургских повестях», в том же «Ревизоре» и не удовлетворившись ни современностью, ни формами контакта, Гоголь остро ощущает потребность личного участия в обновлении действительности. Так рождается — взамен первоначальной («доревизоровской») — новая концепция «Мертвых душ», реализации которой Гоголь посвятил более десяти лет своей недолгой жизни. «Не писать, но спасать. Не изображать — ворожить, уповая на Преображение мира. Силою слова живого насквозь перестроить свет».

Но может ли творение искусства, рассуждает Гоголь, произвести освежающее воздействие, если сам творец далеко не совершенен и в человеческой, и в гражданской своей ипостаси? В мучительных лабиринтах самосознания, разросшихся до того, что порою они парализовали его волю (князь П. Вяземский очень метко сравнил Гоголя с Гамлетом), Гоголь решал сложные, «проклятые» вопросы. Поэтому в 1840-е годы, когда Гоголем отчетливо формулируется проблема личного спасения в современном хаосе, она формулируется им как проблема самосовершенствования. Помимо боязни допущения хоть малейшего греха, активной воли к добру, это означает, как мы неоднократно говорили выше, апелляцию к потусторонней реальности, к идеальному пространству Царства Божьего и Христу как высшему судие, как абсолютной личности. Гоголь очень любил книгу средневекового богослова Фомы Кемпийского «О подражании Христу».

Причудливый мистицизм Гоголя вызывал разное к себе отношение — от резкой и сокрушительной критики до безусловного оправдания. Бесспорный же факт состоит в том, что, будучи рассмотренным именно в плане своего мистицизма, Гоголь приобретает «цветущую сложность» (К. Леонтьев) и наибольшую глубину. Вот почему уважение к Гоголю, желание понять его невозможны без обращения к этой стороне его личности. И. Аксаков, член близкого Гоголю семейства, замечал после его смерти: «Много еще пройдет времени, пока уразумеют вполне глубокое и строгое значение Гоголя, этого монаха-художника, христианина-сатирика, аскета и юмориста, этого мученика возвышенной мысли и высокой задачи».

Распространенное мнение гласит, что художнический талант Гоголя погубила религия. Однако действительные факты противятся такому выводу, более того, предполагают осмысление совершенно в иной плоскости. Во-первых, отдельные друзья Гоголя, слышавшие в исполнении автора готовые главы второго тома «Мертвых душ» (а не черновики, которые единственно находятся сегодня в нашем распоряжении), находят, что гений Гоголя в них нисколько не померк, а обогатился новыми оттенками. Во-вторых, не следует забывать, что неразличение искусства и религии, свойственное самым древним формам человеческого бытия, является предметом неусыпного вожделения многих художников и периодически — более или менее успешно — выказывает тенденцию к возрождению (в средние века, в период раннего Ренессанса, у йенских романтиков, русских символистов); искусство здесь выходит из своих строгих границ, хочет вобрать живую жизнь в свою орбиту, стремится к слиянию с нею, по формуле великого русского философа Н. Бердяева, идет «от творчества совершенных произведений к творчеству совершенной жизни». В-третьих, сторонники идеи гибельности религии для искусства должны помнить, что писательство не было для Гоголя каким-то органичным, раз и навсегда данным состоянием. Он выбрал писательскую стезю после многих других и среди многих других ради одного: ради действия славы («славы» сначала в индивидуалистическо-романтическом смысле, а затем в высоком, религиозном). Поэтому трагическое сожжение второго тома незадолго до смерти (а ему предшествовали другие, не менее трагичные сожжения других рукописей, в том числе первой редакции второго тома) следует рассматривать в уже знакомом нам контексте «смерть — воскресение». Отсветы огня и пепел сожженных страниц с натуралистической наглядностью демонстрируют нам апокалиптичность гоголевского духовного типа. Бердяев справедливо писал о средневековой его окраске.

Физическая смерть Гоголя сопровождалась довольно странными обстоятельствами, которые получили достаточное освещение в исследовательской литературе. Укажем лишь на два обстоятельства: смерть сестры близкого Гоголю Языкова и острый спор Гоголя с его личным духовником — протоиереем Матвеем Константиновским. Умиравший Гоголь отказывался от еды, от услуг врачей, проводил время в молитвах и строгом посте, как будто «приговаривая себя к смерти». Обращает на себя внимание одна из предсмертных записок, выведенных дрожащей, неуверенной рукой Гоголя: «Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок?» В самом низу записки, после обрывающейся на середине фразы, Гоголь нарисовал неотчетливый облик человека, которого захлопывает книга. Лицо человека напоминает гоголевское.

Сознательный поступок Гоголя, больше похожий на самоубийство, бросает новый ответ на всю его жизнь. Этот ответ нельзя игнорировать и называть «оптическим обманом».

Фамильярный контакт с незавершенной современностью окончился трагически. Современность не приняла Гоголя: помимо неудачи с «Ревизором» необходимо упомянуть потрясший автора общественный скандал вокруг «Выбранных мест», самыми «невинными» обвинениями по адресу Гоголя в котором были обвинения в неискренности. Главное состояло в том, что общий ход вещей, против которого выступал Гоголь, — обмеление человеческой личности и бытия, их окутанность тинной мелочей — не переменялся. Гоголь не принял современность. Тонкий наблюдатель земных примет, он не принял в конце концов земного бытия вообще. Слишком велики были требования идеала! «При работе над вторым томом только и думаю о том, как пребывать не в мире путаницы и смут, но в том светлом Божьем мире, откуда светло и полно видится жизнь без путаницы и слепоты, какая окружает человека, пьянствующего в омуте и грязи современной с минутными людьми и явлениями. О, если бы то, о чем любила задумываться душа моя еще со дня младенчества, передать звуку и живому определенному образу...»

Думать, что речь идет о конфликте с социальным строем или конкретным историческим моментом — значит принижать масштаб гоголевской личности. Это был конфликт с бытием. Искусство оказалось бессильным построить видную для всех лестницу к небесам. Мир не преобразился. И тогда Гоголь избрал *прямой* путь в небесное царствие, отказавшись от ухищрений художественного языка, от оков своей телесной оболочки. Смерть Гоголя эсхатологически окрашена. Парадокс состоит в том, что ожидающая встречи с идеалом «лицом к лицу», это почти «веселая» смерть.